

Йордан Люцканов

Российские литераторы между двух революций. Расставание с идиллией и отстаивание свободы

В предыдущем номере "Studi Slavistici" (XVI, 2019, 1), в тематический блок объединено несколько статей, посвященных рефлексии российских литераторов над революционными событиями 1848 и 1917 гг. (Долгушин 2019; Ефимова 2019; Медведев 2019; Рогачева 2019; Tabachnikova 2019); рефлексии, закономерно переходящей в саморефлексию, эксплицитную (Ефимова 2019; Медведев 2019; Рогачева 2019) или имплицитную (Долгушин 2019; Tabachnikova 2019). Выявление неявных связей между статьями, основанное на их критическом прочтении¹, дает возможность занять литературоцентрическую точку зрения на *русскую* революцию, рассмотреть ее как явление российской культурной² истории среднесрочного³ порядка и предложить ее новую периодизацию. Корреляции между социальным возрастом и местом в литературном поле (авто)рефлектирующих литераторов (с одной стороны) и их пониманием революции (с другой) сознательно не обсуждаются мною.

"Русская революция" – как предвкушение, предостережение и подстегивание условий собственной возможности и необходимости – возникла из скрещивания

¹ Я выдвигаю на передний план социологическое измерение рассматриваемых в статьях индивидуальных случаев, а также подвергаю социологизирующему сомнению (см. Berger 1963: 23, 25-53) часть обобщений, принимаемых некоторыми из авторов статей (Рогачева, Ефимова) на доверие. Речь идет об обобщениях с точки зрения инстанций, занимающих промежуточное положение между инстанцией автора статьи и инстанцией объекта, или 'героя', статьи: Якобсон в статье Рогачевой и Замятин (он же и 'герой') в статье Ефимовой.

² Под культурой в данном случае понимаю комплекс навыков, тенденций и случайных актов сопряжения художественных, религиозных, экономических и политических потребностей, на индивидуальном и разного порядка коллективном уровнях.

³ Имеется в виду объект того, что Фернан Бродель назвал *histoire conjoncturelle*, т.е. – циклическое или среднесрочное время в смысле Иммануэля Валлерстейна. Оно занимает промежуточное положение между временем исторических событий и временем исторических структур (*longue durée*) (Wallerstein 1988), соотносимым с понятием "большого времени" Михаила Бахтина. Рабочее определение культуры в предыдущем примечании находится в прямой зависимости как от социологии культуры Пьера Бурдьё, так и от понятия исторических времен Броделя (в прочтении Валлерстейна).

двух мессианизмов⁴: социалистического (не сразу и не обязательно марксистского) и христианского⁵. Она является одновременно революцией сознания⁶, политической и социальной. Дать онтологический приоритет какому-нибудь из этих планов не представляется возможным. Радикальная интеллигенция повела войну против монархического института и против культуры персонализма своей же недоминантной ветви⁷. В этой войне, кульминаровавшейся в событиях 1917 г., художественная литература, обремененная политическими и педагогическими сверхожиданиями⁸, сыграла роль важнейшего инструмента. При всем том, что большинство физических участников тех событий и сопутствующих/последовавших “гражданских войн”⁹ могли знать произведения Льва Толстого, Николая Чернышевского, Максима Горького, Антона Чехова, Леонида Андреева не иначе, как понаслышке¹⁰.

В ситуации, могущей быть описанной в терминах конкуренции между профессиями¹¹, российские¹² литераторы могли претендовать или нет на первенство; мириться или нет с ролью свидетелей либо жертв (“коллатеральных” или нет), а также с поражением.

⁴ Мессианизм, или миф о собственном спасении-через-страдание в сочетании с мифом о собственной избранности (Duncan 2000: 3).

⁵ Это помогают понять Питэр Дункан (2000: 48-61) и Эдвард Рослоф, автор работы о “живой церкви”, начинающейся с цитаты из Достоевского о величайшей опасности, исходящей от социалистов-христиан (Roslof 2002: IX).

⁶ Понятие частично совпадает с понятием “культурная революция”, обсуждаемое, напр., Зеновией Сохор (Sochor 1988) и подразумевает вовлеченность в эсхатологический / социологический дискурс, но не исчерпывается ею.

⁷ На раннем этапе сталкиваются подходы Герцена, Бакунина, организации “Черный передел” (с одной стороны) и Нечаева, Ткачева, организации “Народная воля” (с другой) (см. Figes 1997: 133-138), позже – политические тактики ‘меньшевиков’ и ‘большевиков’ (Figes 1997: 152-154, 144-146), а в рамках большевистской фракции – философии Богданова и Ленина (Reed 1990: 112 и сл.; Gloveli 1998: 47-48, 52, 54; Sochor 1988: 8, 31-34, 37, 178-181 и др.; White 2013).

⁸ Российский литературоцентризм идентифицирован и охарактеризован уже Павлом Милюковым (1896-1903, II: 185-187, 161, 358-365).

⁹ Множественное число обосновано Jonathan-ом Smele (2015: 7, 17 и сл.).

¹⁰ Это тривиальное суждение поддерживается данными о функциональной грамотности и политической активности населения империи, см. Миронов 2003, I: 265, 43. Конкретизировать его здесь не представляется возможным.

¹¹ Методологически основополагающей в данном отношении является работа Эндрю Аббота (Abbott 1988). Известные мне работы о профессиях в поздней императорской и ранней советской России не дают мне достаточно точек опоры для применения методологии Аббота к российскому случаю.

¹² Пользуюсь термином “русский” (а не “русский”), учитывая доводы Smele (2015: 7, 17 и сл.).

Важнейшим коллективным заявлением литераторов (в тяжбе с политиками-‘технологами толпы’)¹³ о должном приоритете революции сознания, а заодно и заявкой об их собственном участии в ней, считаю сборник *Вехи* (1909); важнейшим коллективным заявлением о верности революции сознания – сборник *Из глубины* (1918)¹⁴. Попробую дать определение “революции сознания”: рациональная идентификация своего ‘идиллического уголка’, обжитого социально-ментального места, и осознание своей от него зависимости¹⁵. Альтернативное определение: разучиться глгать, в т.ч. превращать людей в инструменты (ср. Медведев 2019: 144, 145, 146-147)¹⁶.

Индивидуальные ‘заявления’ со сходных позиций – объект внимания рассматриваемых статей.

1. *Восемь литераторов в поисках экзистенциальной опоры (аналитический пересказ пяти статей)*

Между рассматриваемыми пятью статьями, на первый взгляд, мало общего.

1.1. Статья Ольги Табачниковой о том, как Лев Шестов, рационалист в жизни и апологет иррационального в творчестве (Tabachnikova 2019: 178; ссылка на Джона Бэй-

¹³ “Технологом толпы” (ср. с окказиональным термином “master of crowd-making techniques” [Leach 1986: 111]) можно считать в первую очередь, но не единственно Ленина, изучавшего и применявшего Карла фон Кляузевица и Гюстава Лебона (Pipes 1996: 118-119, 390-393). Прообразом типа можно наверняка считать Нечаева (см. Figs 1997: 133-134), последовательного аморалиста в том, что позднее назовется организационно-партийной работой. Разница между работой внутри и вне партийных структур не представляется мне помехой для выделения названного типа. Самоорганизованность толп и пассивность политиков из числа социалистов в период Февральской революции (Figs 1997: 318) не отменяет вывода о важности умений и действий “технологов” в дальнейшем. Принципиальное возражение, что сложность реальной обстановки может обессилить и самые продуманные планы в руках самых умелых деятелей, бьет мимо цели, т.к. оно приложимо и к потерпевшим поражение противникам “технологов толпы”.

¹⁴ В отличие от Кристофера Рийда (Read 1990: 70), я не решаюсь считать его “башней из слоновой кости”. Видимую нечувствительность авторов к проблеме социального и имущественного неравенства можно рассматривать как отказ говорить в рамках доминантного дискурса. Внимание к текстам давно живших писателей полезно сопоставить с поведением членов Академии Наук: те из них, кто были склонны к оппозиционности при императорской власти, сохранили (и даже усилили) эту установку при большевистской (Tolz 1997: 170-171). Такое поведение соответствует логике реципрокного ответа на репрессивность политическоего, т.е. последовательной защиты автономности своего поля (в смысле Бурдьё).

¹⁵ Я считаю “эмансипацию” ради подлинного/полного самовыражения человека (ср. Halpin 1999: 6) марксистской редукцией “революции сознания”. Решительный упрощенческий шаг – в устранении инстанции радикальной инаковости по отношению к человеку (там был Бог).

¹⁶ Словами Василия Розанова, цитируемыми Медведевым: “революция прежде всего должна неуметь глгать” (Медведев 2019: 145); “Ленин [...] признает одни классы и сословия, и смаливает всех русских людей возвратиться просто к своим сословным интересам” (там же: 146).

ли), эмигрировал, очевидно чтобы сохранить (*там же*: 185-186) таким образом наведенный распорядок своей жизни и творчества. (Я назвал бы этот принцип “дифференциацией”, а не – как Табачникова вслед за Виктором Ерофеевым – “двойственностью” [*там же*: 177, 194-195]). О том, как в якобы отрешенном (*там же*: 187) от социально-политической современности творчестве он, в самом деле, решал ее глубинную проблему: рабства (потерявшего веру в Бога) человека у идеи (*там же*: 188-192). О том, что он два раза отошел от своего ‘аллегорического’ режима вопрошания (именно вопрошания, а не изображения) социально-политической современности, написав брошюру о большевизме (1920) и статью о фашизме / нацизме (1934) (*там же*: 192), чтобы и после 1920-го, и после 1934-го г. на деле утверждать свою верность названному ‘режиму’, или установке. Замечание Табачниковой о том, что Шестов хорошо разглядел большевизм, а недоглядел фашизм / нацизм (написав о нем относительно позднюю статью относительно неконкретного характера) (*там же*: 192) кажется мне лишним – потому, что большевизм в 1917-1919 гг. совершенно непосредственно угрожал личности автора, в отличие от фашизма / нацизма к 1934-му; а уже анализ психологического состояния Шестова в 1914-1917 гг., произведенный в статье (*там же*: 183-185), наводит на мысль о логичности такой, казалось бы, непоследовательности реакции философа на указанные политические идеологии и практики. Затем, я не уверен, что Шестов ставил перед писателями прошлого (Толстым, Достоевским, Лютером, Ницше) романтический императив единства ‘слова’ и ‘дела’, сам четко разводя жизнь и литературу; и что он верил в силу литературы преобразовать жизнь и потерял-де эту веру в результате революции 1905 г. (ср. *там же*: 194 и сл.). И противоречие, и изменение оказываются, на мой взгляд, мнимыми, если учесть центральность для Шестова альтернативы ‘подвластность – неподвластность власти идеи’. Шансы на преобразование жизни имеет лишь литература, свободная от ‘власти идеи’, от репрезентативизма (все равно в отношении какого мира – материального или идейного / идеального). Сам Шестов пытается писать философский аналог такой литературы. Философия Шестова – аналог беспредметного искусства...¹⁷ Брошюра о большевизме – шаг к ‘предметности’: может, не только из-за грубости вызова, бесцеремонно врывающегося в наведенный согласно принципу дифференциации мир Шестова¹⁸; но и в бессознательном поиске устойчи-

¹⁷ И тем самым – симптом возможного изменения на уровне *longue durée*, или “структурного” времени (в терминах Броделя-Валлерстейна): частичного отхода российской эстетической и религиозной культуры от эллинизма. Об эллинизации религиозной и эстетической культуры на примере сирийского христианства см.: Атаг 2011; о двух типах словесной культуры, эллинистической / эллинской и “ближневосточной”: Аверинцев 1971; о де-эллинизирующих тенденциях в русском ‘серебряном веке’ и, конкретно, у Шестова: Люцканов 2013; Lyutskanov 2012: 38-39; о радикально остраненном, близком к беспредметности, изображении революции и гражданской войны (у Н. Гумилева): Люцканов 2011: 73.

¹⁸ Грубость вызова – в иррациональности (в восприятии Шестова) социально-политического мира большевистской революции; и в настаивании на отношении репрезента-

ности (ср. Cohen 2014: 134-135, о вроде бы неожиданном усилении востребованности неавангардной живописи в годы военного коммунизма).

1.2. Статья Светланы Ефимовой о том, как Евгений Замятин, вернувшийся в Россию в 1917 г. и уехавший из СССР в 1931 г., сохранял двойственность¹⁹ отношения к культурному проекту советской власти²⁰ (Ефимова 2019: 126 и сл.), моделируя свой автопортрет и оправдывая эту двойственность в зеркале портретов других: современников (Максим Горький, Александр Блок) (*там же*: 130, 132) и несовременников (Роберт Мейер) (*там же*: 133-134, 137-139). Остается неоткомментированным литературно-социологический план замятинских двойственностей – ‘чиновника’ и ‘еретика’, инженера и литератора... Профессия осмысляется как метафорическое средство “автопоэзиса” (*там же*: 135-137), а не как источник социального либо символического²¹ капитала.

Обратим внимание на совмещение Замятиным авторства романа *Мы* и участия в “культурно-просветительских общественных работах” под советской властью, в т.ч. в проекте Горького перевода образцов “всемирной литературы”. Эти проекты, как и будущее искусства, Замятин объяснял через метафору “Вавилонская башня”, с или без “пути аэро” как “винтовой лестницы” Башни (*там же*: 129). Может, Замятин откладывал “теневую сторону” своих предвидений и чаяний в роман(е), чтобы с облегченной совестью предаться им вне фикциональной действительности. Колемание²² откладывается в двух противоположных решениях одной и той же задачи, но последовательность решений во времени, а также разность их рамок (фикциональная / нефикциональная) уже создает между ними иерархию...

Установка на поиск и нахождение парадоксов и подлежащих оправданию противоречий у других хорошо вписывается в стратегию оправдания собственной ‘амбивалентности’; по логике – ‘мир так устроен’. Этически сомнительная амбивалентность переосмыляется в законную двувалентность. Я имею ввиду не только ‘чиновника и еретика’, но и ‘нахождение в / вне России’. Сознательно или нет, в 20-х годах Замятин опробует возможность нового физического перемещения (в этот раз – из России на Запад).

тивности между революционностью философии и революционностью социально-политического действия.

¹⁹ Ангажированность и дистанцированность одновременно либо попеременно.

²⁰ И более частным культурным проектам, толерировавшимся ею.

²¹ Работа Рийда помогает понять и социальную, и символическую, и экономическую выигрышность профессии инженера перед писательской в периоды военного коммунизма и НЭП-а (Read 1990: 52, 78-81, 159-160, 182-183).

²² За анализ поведения Замятина под знаком колебания (и оттягивания выбора) я обязан литературно-теоретическим изысканиям Радосвета Коларова (Коларов 2009: 78, 80, 85).

Замятин стремится максимально продлить свою социальную молодость в поле литературы, т.е. сохранить за собой возможность выбора²³. Потому и не становится ни советским, ни эмигрантским писателем. Оттягивание выбора можно оправдать, в замятинских понятиях, как сопротивление энтропии. ‘Принципиальность’ – союзник энтропии, сама энтропия; быт.

“[С]егоднешние истины – завтра становятся ошибками [...] У слаонервных не хватает сил в диалектический силлогизм включить и самих себя” (цитата Ефимовой [Ефимова 2019: 136-137] из Замятина; купюры мои), тогда как Блок, *Двенадцатью*, включил себя в него и тем самым смертельно ранил себя; по Ефимовой, то же самое сделал Замятин, “рая” себя “принципиальной двойственностью чиновника и еретика, революционера и полу-эмигранта” (*там же*: 137). Мне кажется, что Замятин (мело)драматически стилизует Блока, а Ефимова – Замятина. Еще раз автор статьи некритично воспроизводит замятинскую характеристику (Горького), а в самом деле косвенную автохарактеристику: еретик – протопоп – Аввакум; “Аввакумов нужно выдумать, если их нет” (Ефимова 2019: 130). В свете всем хорошо известного из биографии протопопы Аввакума (физическое мученичество, ссылка) такое отождествление кажется кощунственным; оно обладает легкостью утопического воображения, не замечающего ‘неудобообрабатываемость’ человеческого тела, а также предвосхищает один из императивов соцреализма – изображение действительности ‘в развитии’ (Горький и Замятин ‘Аввакумы’ лишь потенциально)...²⁴ В портрете Замятина мне недостает критической (иронической) дистанции к модели.

Жизнетворчество Замятина – в искусстве оттягивания окончательного выбора путем превращения собственной моральной нерешенности / уязвимости в эпистемологическое преимущество. “Диалектический силлогизм” можно назвать и беспринципностью, оппортунизмом, авантюризмом. Его можно включить в “диалектический силлогизм” высшего порядка: есть время для оттягивания выбора; есть время, чтобы его сделать. В неприходе к “окончательной истине” – своя окончательность.

Отождествление ‘еретика’ и ‘мечтателя’ Замятинским, замечаемое Ефимовой, говорит о фундаментальном аффирмативизме Замятина. На мой взгляд, ‘еретик’ ассоциируем с ‘мечтателем’ не в меньшей степени, чем с ‘деятелем’. Одностороннее отождествление соответствует, однако, мыслям, словам и делам Замятина – в той мере, в какой они раскрыты в статье: еретическое антиутопическое мечтание было в рамках романа, чиновническое же делание вавилонской башни осталось в не-фикциональной жизни и творчестве Замятина. Ирония в том, что в России за покушение на власть фикциональным текстом можно пострадать больше...

²³ Я проецирую на данный случай анализ Бурдьё (Bourdieu 1995: 12-13, 19-21, 26, 33) поведения Фредерика из *Воспитания чувств* Флобера.

²⁴ А формула “Горький и Пешков”, конечно, позаимствована у Мережковского (“Глеб и Успенский”).

1.3. Статья Дмитрия Долгушина о том, как на склоне лет Василий Жуковский, наконец посвятивший себя своей личной жизни (Долгушин 2019: 107-108), был изгнан из рая (*там же*: 109, 114) теократической утопии, символически сотворенного им на волне персонального мифа императора Александра “Благословенного” (*там же*: 115-116; ссылка на А. Зорина) и пронесенного им через десятилетия (1810-ые-1840-ые): событиями европейских революций 1848 г. (*там же*: 117). Разрушение политического ‘Эдема’, олицетворяемого для Жуковского, в первую очередь, союзом российского императора и прусского короля (*там же*: 109-110), совпало с разрушением семейной идиллии (*там же*: 117) придворного поэта²⁵ на досуге / в отставке (*там же*: 107). Жуковский находит мифопоэтическую опору в образе *христианской* России – скалы, противостоящей, сдерживающей лаву-океан революции (*там же*: 119 и сл.).

1.4. Статья Александра Медведева о том, как несколько российских литераторов (Василий Розанов, Александр Блок, Михаил Пришвин) оценивают результаты революций 1917 г. с точки зрения того, что можно назвать (в согласии с, напр., авторами *Вехов* [см. Read 1990: 29], или Александром Богдановым [Read 1990: 112-115]²⁶, или Дмитрием Мережковским, или Андреем Белым [Петров 2017]) “революцией сознания”. В случае Блока это приводит к отказу от своей народнической и про-большевистской позиции и к символическому самоубийству (Медведев 2019: 155-157) (факт скорой физической смерти устраняет вопрос о том, способен ли был он на духовное / интеллектуальное перерождение или остался бы только при резигнации). В понятии “революция сознания” есть потенциал оживить интеллектуальную косность дихотомии социальная vs. политическая революция, объязычивающей и ‘марксизирующей’ русскую революцию, а также близкой к тому, чтобы задавать матрицу осмысления событий в некоторых англоязычных работах о революциях 1917-го²⁷. Их авторы, возможно, остерегаются 1) невольного соскальзывания в ‘элитоцентрическую’ перспективу²⁸ (тогда как историографически своевременным, не первый год, считается переключение внимания на социальные низы и географическую периферию, см. [Wadcock 2008])²⁹; 2) рецидивов зависимой от повестки дня ‘Холодной войны’,

²⁵ Об обстоятельствах становления им см. Зорин 2001: 269-280.

²⁶ См. работы Богданова *Революция и философия* (1905), *Падение великого фетишизма* (1910), *Путь к социализму* (1917).

²⁷ Матрица проступает в, напр.: Read 1990: 38; Figs 1997: 277, 402, 468; Wade 2004: 2-8; Steinberg 2017: 73, 124. Возможно, в ней запечатлелся основной ‘сюжет’ в истории поля – смена “тоталитарной” “парадигмы” “ревизионистическую / модернизационную”. Их критику см. у Игала Халфина (Halfin 1999: 13, 21 и др.). Подход Халфина, учитывающий невторичность языка по отношению к социально-политической реальности, снимает проблему частично.

²⁸ Пусть и интеллектуальной, а не политической элиты, как в 1920-1960-ые гг. (кратко о том периоде исследований с данного угла зрения см. в: Wade 2004: 2-3).

²⁹ Такое переключение само по себе, однако, не снимает теоретическую редукцию и не является выходом из эпистемологического тупика, очерченного Халфином (Halfin 1999: 10).

а также от точек зрения российских эмигрантов ‘первой’ и ‘второй’ ‘волн’, ‘тоталитарной парадигмы’ осмысления советского опыта³⁰. Такие опасения вписываются в многоликую традицию писать историю ‘русской революции’ с точки зрения *победителей*, что я попытаюсь доказать в другом месте. Редукция революции к дихотомии / симфонии социального и политического дисквалифицирует критику революции с позиций христианства и средствами христианского дискурса, как критику ‘извне’, по подразумевающему контр-революционную. (При том, что риторика / поэтика / автопоэзис ‘архипоэта’ большевистской революции Маяковского насыщены христианским дискурсом (см. Steinberg 2017: 327, 329-333, 336; ср. Рогачева 2019: 165, 172). А зачинатель русского социализма, Герцен, в *Былом и думах* критиковал европейские революции 1848 г. с позиций лаицизированного сгустка христианства – персоналистского мировоззрения)³¹.

В статье Медведева реконструируется критика ‘революции’ (“срыва” и “социальной катастрофы”, в терминах Медведева [Медведев 2019: 143, 149, 158]) – критика с точки зрения личности и с учетом потенциала исторического события породить ее (*там же*: 147, 158)³², применяющая при этом оптику “большого времени” (*там же*: 143, 147).

Использование понятия “срыв” надо оговорить. Недавние работы обнаруживают значительную преемственность в институциях (Rowney 2005) и в политической культуре (Neumann, Willimott 2018). Риторике отрицания преемственности и сходств большевистских победителей³³ дезавуировать необходимо. Но к похожей риторике побежденных надо отнестись по-иному. В том числе потому, что деконструкция как раз “истории *победителей*” должна быть эпистемологическим императивом для гумани-

³⁰ О ней см., напр., Service 2009: 5; D’Agostino 2010: 108-109, 132-133; Kotkin 1995: 2-3. – О значении ученых-эмигрантов в становлении западной и, в частности, американской ‘советологии’ см. Wood 2003: 64; Service 2009: 4-5; Kotkin 1995: 2. Интонация дистанции показательна. – Критику вышеназванного опасения см. в: Pipes 1996: 392.

³¹ “Рыцарь был больше *он сам*, больше *лицо* и берег, как понимал, свое достоинство, оттого-то он, в сущности, и не зависел ни от богатства, ни от места; его личность была главное; в мещанине личность прячется или не выступает, потому что не она главное: главное – товар, дело, вещь, главное – *собственность*.” (Герцен 1954-1965, X: 125). Написано в 1855 г., опубликовано в 1856 г. (*там же*: 473-474).

³² Личность видится, напр., Пришвиным исторической переменной и результатом развития общества.

³³ В отличие от Джонатана Смелэ (ср. Smele 2015: 237-240, 253), я не сомневаюсь в “долгоиграющей” победе большевиков (точнее: доминантной среди них группы “технологов толпы”). В частности, снос (не всех) большевистских монументов и переименование улиц... в нескольких центральных пост-советских городах не только недостаточно репрезентативно в качестве доказательства. Вне зависимости от количественных и топографических параметров, перелицовка постсоветского городского ландшафта может, иронически, оказаться не отрицанием, но увековечением анти-персонализма большевистской культуры и патримониализма имперской, сохраненного советской.

таристики. Подумаем, поищем, что изменилось после 1917 г., с точки зрения апологетов революции сознания? Главное, мне кажется³⁴, в следующем: насилие ‘сверху’ стало публично приемлемым и даже оправдываемым³⁵ (ср. Halfin 1999: 37; о “поводе войны” см.: Figes 1997: 629), а режим чрезвычайности, служащий для его оправдания, поэтапно продлевался *ad infinitum*³⁶. Происходит фетишизация революци(онн)ости – любое насилие разрешено для защиты революции. Ментальная основа новояза – это аксиома, что революция – это хорошо³⁷. А новая ценностная парадигма получает относительно широкую социальную базу, и не непременно из социальных низов (см. Kotkin 1995: 14-15), все равно искренне или неискренне пошедших на социальный договор людей.

1.5. Статья Рогачевой посвящена реконструкции одного важного объекта теоретических интенций и исторических изысканий Романа Jakobsona: “поэтический союз” поэтов, чье физическое существование очевидно прекратилось в результате самоубийства Владимира Маяковского. Рогачевой обнаруживается двусоставный стержень (Рогачева 2019: 164, 166-167) указанной историографической конструкции Jakobsona: концептуальность³⁸ обонятельной (ольфакторной) метафоры и, кажется, ‘мифомоторность’³⁹ видения / предчувствия собственного физического конца. За кадром остается та экзистенциальная составляющая, предполагаемое наличие которой разоблачает конструкцию как мнемо-историческую, как проекцию персонального опыта, позволяющую Jakobsonу-человеку продолжить свое душевно-интеллектуальное существование вне пределов СССР. Самоубийство Маяковского, должно быть, служит Jakobsonу решающим поводом *растаться* с поэтами-сверстниками, оставшимися в СССР, а также не примкнуть к ‘лагерю’ ‘эмиграции’: решающим толчком к самоосвобождению. Само собой устраняется вопрос (и в горизонте Jakobsona, и в горизонте Рогачевой) о (не)принадлежности к данному поэтическому союзу убитого в 1937 г. Мандельштама (напрашивавшегося на репрессию с фатальным исходом?), а также проводивших “самоупрощение” (духовное самоувеچه?) в 1930-ые гг. Пастернака и Ахматовой⁴⁰.

³⁴ Собираание текстуальных свидетельств изменило бы объем и жанр настоящего текста.

³⁵ Наличие голосов несогласных (Figes 1997: 647-648) вывода не меняет.

³⁶ Или: в 1917 г. осуществился переход к “перманентной лиминальности” (термин Арпада Шаколя) российского общества / “семьи народов”. – Об оправдании (т.е. в т.ч. нравственном) насилия со стороны красных см.: Steinberg 2017: 320-323; Figes 1997: 399.

³⁷ Я сознательно упрощаю проблематику новояза, введением к которой может послужить: Waterlow 2018: 215-217.

³⁸ В смысле Джона Лакоффа.

³⁹ Обладание свойством ‘мифодвигателя’ – основополагающего мифа / сопряжения мифов, сообщающего чувство цели. Понятие применялось к политической общности (Armstrong 1982: XXII, 9 и др.), применяю к личности по аналогии.

⁴⁰ Об их стратегии, направленной на самоупрощение см.: Берг 2000: 45-46.

В центре реконструкции – известный текст *О поколении, растратившем своих поэтов*. Заглавие, на мой взгляд, смещенное; гипотетические *О поэтах, растратенных нашим поколением* и *Поколению, растратившему...* кажутся более точными. Главная тема работы Якобсона – советское общество и литераторы вовсе не понимали Маяковского, сделали его чужаком на родине. То ли из дипломатичности, то ли ради избежания легко защитимой тезы, Якобсон отказывается от рассуждений в сторону более общей, обрамляющей темы (хотя она заявлена): Россия (советская – не меньше, а даже больше прежней) убивает своих поэтов. Другое тематическое обрамление темы ‘Маяковский’ – тема преемственности, понятая литературно-социологически.

Сыграна роль, и вчерашние властители дум и сердец уходят с авансены на задворки истории – частным образом доживать свой век – духовными рантье или богачиками. Но бывает иначе. Необычайно рано выступило наше поколение [...]. А нет по сей час, и это ясно осознал М.[аяковский], ни смены, ни даже частичного подкрепления (Якобсон 1979: 380).

Тема повисла неразвернутой... Роль самого Якобсона, конечно, не сыграна, в т.ч. в горизонте его собственного тогдашнего самовосприятия; сама статья на смерть Пюта – знак начала ‘второй’ жизни того же поколения.

Рогачева (2019: 164, 166-167, 171) ставит акцент на сквозной теме воплощенности метафоры в жизнь, хотя у Якобсона, кажется, более сильный акцент на слепоте советской публики к пути-метафоры-к-осуществлению, т.е. к ее неметафоричности. Озабоченная поэтикой (а не социологией) якобсоновской концептуализации, Рогачева обходит вниманием другую проблему. У Якобсона чувствуется сожаление о том, что ‘мы’ (поколение, а точнее, обрамляемый им союз, объединяющий Якобсона и Маяковского) жили только ‘будущим’, став воплощением ‘оползня’ (вместо того, чтобы встать и над ‘бытом’, и над ‘оползнем’), что, стало быть, жили иррационально.

Как бы то ни было, литература оказывается действенной только как суицидальная сила; как ликвидация условий своей возможности и реализация метафоры смерти через задыхание.

Встает вопрос о возможности хронологии революции на основе хронологии литературы; конкретно, на основе ритма чередований установок на ‘репрезентацию’ и на ‘перлокутивность’.

2. *Свобода как золотая середина между революцией социально-политической и революцией сознания*

Пять рассматриваемых здесь статей о том, как российские литераторы сохраняли обретенную / обретаемую личную свободу, между двух революций: революцией сознания и революцией социально-политической.

На первый взгляд, и “свобода” и “революция сознания” ассоциируемы с ‘положительным’ членом ряда дихотомий либо с третьим членом, мнимо или действи-

тельно их снимающим. У Замятина: чиновник vs. еретик; дихотомия, снимаемая в метафоре двойного отрицания либо спирали либо “диалектического силлогизма”, и такой личностью, как сам Замятин (мудро/тактично сохранивший относительную автономность от поля власти, и в СССР и во Франции). У Якобсона (и Маяковского): быт, косность vs. бытие; или косность vs. оползень, – оппозиция, снимаемая (по-разному) такими (на первый взгляд, непохожими) личностями, как Маяковский и Якобсон. У Шестова: власть идеи vs. свобода мысли/поиска. У Жуковского: жидкость (вода либо лава) vs. твердь, – снимаемая в образе плодородной вулканической почвы (см. Долгушин 2019: 120).

У Жуковского, из-за словесного бичевания (а не – критики) ‘революции’, труднее рассмотреть “свободу” и “революцию сознания”. Но на самом деле они есть; есть место для такого пласта в ‘интеллектуальной конституции’ Жуковского, как она проступает за анализом Долгушина. Социально-политическая революция рушит теократическую идиллию и обновляет веру поэта в миссию России; сознание, обогащенное негативным опытом, возвращается на свои пути, сохраняет верность. Но это уже не младенческое, ‘адамическое’ состояние историософской веры... Более того, новая версия теократического чаяния предписывает субъекту священно-исторических свершений рефлекссию, со-знание; не просто предугадывание Божьего промысла о мире / Европе, а встречу с предками, выполнение долга перед ними:

В письмах вел. Кн. Константину Николаевичу Жуковский обосновывает мысль о том, что мирное освобождение Иерусалима совокупными усилиями христианских государей станет толчком преобразования Европы, к возвращению ее христианского лика (Долгушин 2019: 121).

Здесь слово “революция” применимо и в своем старинном, и в своем современном значениях: как завершение циклического поступательного движения и как срыв. Заняв модернизирующую точку зрения, можно, однако, толковать реакцию Жуковского как поражение, как подтверждение власти идиллии (=идеи-в-сраженности-с-хронотопом) над ним.

Явная непохожесть случая Жуковского прочим случаям, а также центральный шестовский троп (‘власть идеи’), помогают прийти к более конкретному определению свободы – так, как она дана в анализируемом статьями опыте вышеназванных восьми литераторов. Свобода – это потеря идиллии (Жуковский; но и Блок, народническую идиллию которого разрушил революционный террор/революционный Хам); либо добровольный уход из (ложно)идиллического хронотопа (Замятин, оставивший работу инженера при стройке ледоколов в Великобритании⁴¹, а также СССР в 1931 г.); либо сознательный шаг на его сохранение в какой-то относительной степени (Шестов, покинувший страну, чтобы не потерять персональную ‘идиллию’

⁴¹ И артикулировавший свой опыт ухода из идиллии в “Островитянах” (1918).

– габитус философа, свободного-от-власти-идей; Маяковский, убивший себя перед неизбежностью потери своей идиллии, или габитуса перманентной поэтической-и-политической революционности).

Отъезд Замятина из СССР можно, конечно, объяснить действием импульса самосохранения, как писателя и как физического лица. Кажется возможным выделение еще пласта искомой Замятиным самосохранности/свободы: свободы поменять символическую ‘одежду’, оставить стеснявшую либо полинявшую ‘диалектику’ подсоветского ‘чиновника-и-еретика’ (и надеть другую, своевременную для человека, критически осмыслившего свой опыт в Советской России). Эту свободу можно отождествить со свободой неинерционно менять свой габитус; откладывать социальное старение (в данном случае: старение в рамках и литературного, и культурного поля). Один из ее аспектов – поиск трудностей; он общий для Замятина, Jakobsona и Шестова, но обладает неодинаковым весом в структуре их поведения.

Теряемая/покидаемая идиллия имеет для литераторов неодинаковую притягательность; они были субъектами выбора в разной степени; и заплатили они разные цены. Ради ее сохранения Маяковский жертвует жизнью; Шестов – жизнью на родине; Жуковский, кажется, ничем (разрушение семейного счастья логически – если не темпорально – предшествует сохранению верности идиллии). Полу-отказываясь от нее, Jakobson обретает социальную зрелость, Замятин откладывает (два раза) социальное старение. В отношении Пришвина и Розанова мне трудно вынести обобщение. Блок, до разглядения своей ‘идиллии’ (пребывания-в-идее), потерял более или менее важных друзей; после этого – обрел себе символический капитал на будущее, на случай историй литературы, для которых ‘принятие революции’ не является писательской добродетелью.

Наиболее откровенно (с точки зрения XX века – наивно) говорит о потере Жуковский.

Общая стратегия – найти ‘золотую середину’ между революцией социально-политической и революцией сознания; только у каждого эта золотая середина проходит в ином месте. Различие не в последнюю очередь происходит от того, способен ли и в какой мере человек 1) дистанцироваться от революции социально-политической, 2) мыслить две революции как потенциально несовпадающие и даже между собой не согласующиеся.

3. *Литературоцентрическая периодизация русской революции*

Очерченные в статьях случаи дают возможность предложить новую периодизацию ‘русской революции’. В отличие от других известных мне периодизаций (таких, как 1914-1921, 1905-1921, 1900-1926, 1891-1924, 1861-1917⁴², 1917-1945 гг., список не полный), она будет ставить онтологический акцент на литературу (а не на социально-по-

⁴² Wood 2003; ‘собственно революционный период’ – 1905-1917 гг. (Wood 2003: 69).

литическую действительность), обоснованный не только дисциплинарным 'патриотизмом', но и сознанием о вкладе русской художественной литературы в становлении сознания необходимости социально-политической революции в России.

Такая периодизация не так уж неожиданна, ее можно вывести из разрозненных фрагментов уже известного о революциях 1917 г. Действенное осмысление интеллигенцией социальных и политических данностей императорской России, в особенности в период перевеса 'общественности' над государством⁴³, оказалось основной причиной революции⁴⁴ (ср. Pipes 1996: 387-388), а русская художественная литература была самым сильным инструментом саморадикализации интеллигенции⁴⁵. (Вспомним и о функции литературы как генератора и оформителя возможных миров; и об ее потенциальной функции инструмента политической пропаганды и агитации). Ленина сделало революционером прочтение романа *Что делать?* (задолго до того, как он прочел, напр., *Капитал*) (ср. Figes 1997: 145, 150, 389).

У периодизации есть и (почти) прецедент: самая ранняя из известных мне болгарских аналитических реакций на (февральскую) революцию 1917 г. буквально объясняет ее результатом рецепции русской литературы, начиная с Гоголя (Велчев 1917); т.е. безотчетно дает онтологический приоритет литературе (в обход социо-политико-экономической действительности).

С литературоцентрической точки зрения "русская революция" начинается 1848 годом и кончается 1930-ым. По-разному мотивированный дистресс⁴⁶ Александра Герцена⁴⁷ и Василия Жуковского европейскими революциями 1848 г. можно считать началом литературной истории "русской революции", поскольку тогда рецепция (чужой) революции сочетается с мессианистической авторецепцией российских свидетелей. Герцен создает художественную и парахудожественную рамку будущих инструкций для действия будущих революционеров (*Былое и думы, С другого берега*); Жуковский (а также Федор Тютчев) – аналогичное, но с противоположных позиций и для будущих контр-революционеров (узнаваемое в т.ч. в подчеркнутом "патримониализме" [Figes 1997, 6-14, 23 и др.] последнего императора). И 'справа' и

⁴³ Т.е. с 1881 г., по Борису Миронову (Миронов 2003, II: 257).

⁴⁴ Либеральный сегмент общественности уступил инициативу социалистическому, а в рамках социалистического фракции разного толка уступили ее одной из радикальных, большевикам. Другое объяснение – растущая негибкость (не обязательно анти-модернизационная) императорской институции и двора, ведущая к радикализации общественности / населения. Читатель может найти эти и другие оценки в трудах в библиографии к настоящему тексту.

⁴⁵ Трудно переоценить влияние произведений и писательских фигур Льва Толстого и Горького на широкие читательские круги начала XX в.

⁴⁶ О понятии "дистресс" см. Selye 1974.

⁴⁷ "Я знаю, что мое воззрение на Европу встретит у нас дурной прием. Мы, для утешения себя, *хотим* другой Европы и верим в нее так, как христиане верят в рай" (Герцен 1954-1965, X: 124).

‘слева’ русские реагируют на революцию в режиме мессианистической редукции (революция vs. Россия, мещанство vs. Россия; общим знаменателем проходит противопоставление персонализма и аперсонализма, более четкое у Герцена). К Блоку (и до Блока) персоналистская доминанта потерялась в стоическом кенотизме⁴⁸ или просто коллективизме (см. Figes 1997: 734), но у Маяковского она обновилась. Общественность, посредством литературы, проходит путь от ‘мыслимости нашей революции’ к ‘немыслимости нашей жизни в мире, созданном ею’. Самоубийство Маяковского – лишь самый эффектный маркер конца⁴⁹.

Образность вулканической активности и духоты сопровождают литературную жизнь русской революции с самого начала⁵⁰. Заманчиво реконструировать за произведениями Маяковского миф о задохнувшемся вулкане.

Революция сознания ушла в “катакомбы” (Медведев [2019: 158]; цитаты из Блока и В. Брюсова) в годы военного коммунизма и начала НЭП-а⁵¹. Те из ее апостолов, которые активно поддерживали ее социально-политический коррелят (Маяковский), удержались на плаву до 1930 г. Но уже “отрезвление” (Медведев 2019: 155) и физическая смерть Блока – предзнаменование конца. Другие сохранили верность “революции сознания”, идя на больший (Пришвин, Замятин) или меньший (Якобсон, Шестов) физический риск. Все, за вычетом Блока до осознания им своей зависимости от народнической мифологии, отдавали онтологическое преимущество революции

⁴⁸ Акцент – на стоицизме (о Блоке как стоике см.: Курганов 1998). Я не противопоставляю кенотизм персонализму. О кенотическом *персональном* (и потенциально персоналистском) мессианстве в русской поэтической культуре см.: Фрейдин 1991.

⁴⁹ Ср.: “Смерть утопической научной фантастики в начале 1930-ых гг. – идеальная (*‘perfect’*) метафора смерти утопической революции 1920-ых” (Stites 1989: 189). Утопия воцарилась в одежде не-утопии (см. Берг 2000).

⁵⁰ У Герцена: “Или вы не видите новых христиан, идущих строить, новых варваров, идущих разрушать? – Они готовы, они, как лава, тяжело шевелятся под землей, внутри гор. Когда настанет их час [...] правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот... Эта лава, эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покончить дряхлое и бессильное и расчистить место свежему и новому, ближе, нежели вы думаете. Ведь это они умирают от голода [...]” (*С того берега*; Герцен 1954-1965, VI: 58). Цитата – из статьи *LVII год республики, единой и нераздельной*. “Статья датирована 1 октября 1848 г. Герцен отправил ее московским друзьям 5 ноября того же года”; а впервые напечатана “на немецком языке в издании 1850 г. [...] Русский текст в переработанном виде вошел в издания 1855 и 1858 гг.” (Герцен 1954-1965, VI: 502).

⁵¹ Read (1990, 142 и сл.) пишет убедительно о том, что главные институции и ментальные установки будущего сталинизма в области культуры уже налицо к 1922 году, а также об иллюзорности оттепели 1920-ых гг. Итог развития 1919-1921 гг.: присвоение поля культуры государством, параллельное / последующее присвоение государства партией, – эмблематически наглядно показан на примере взаимоотношений Пролеткульта, Наркомпросса и ЦК (Read 1990: 122 и сл., 145-159).

сознания. Их позиции (за вычетом самой радикальной – Маяковского) были воплощены Жуковским (и Герценом). В ситуации, могущей быть описанной как подобие межпрофессиональной конкуренции, литераторы проиграли политикам-технологам толпы, о чем предупредил еще Герцен⁵².

4. Пророк конца русской революции

Исход исторического цикла, именуемого ‘русской революцией’, в перспективе жизненного пути творческой личности, или автономного агента культурного поля, предсказан в антиутопическом рассказе Александра Богданова *Праздник бессмертия* (опубл. в 1914 г.). Как и в СССР, путь кончается самоубийством со-делателя революции от поля культуры; но не поэта, а ученого. Рассказ Богданова можно считать и актом персонального самоосвобождения отошедшего от / вытесняемого из политики⁵³ революционера. У Богданова предвосхищена и предшествующая самоубийству Маяковского доминанта психо-социального опыта поэта, которой Якобсон касается не раз в *О поколении, растратившем своих поэтов* и которую можно определить как невольную (но закономерную) загнанность Маяковского во внутреннюю эмиграцию; в стихотворении про марсианина, заброшенного на Землю (опубл. в 1924 г.). А собственная смерть Богданова (в 1928 г.) подозрительно походит на смерть фикционального предка и одного из первых романых героев русской революции, Тургеневского Базарова.

Литература

- Аверинцев 1971: С. Аверинцев, *Греческая “литература” и ближневосточная “словесность” (Противостояние и встреча двух творческих принципов)*, в: П.А. Гринцер, *Типология и взаимосвязь литератур древнего мира*, Москва 1971, с. 206-266.
- Берг 2000: М. Берг, *Литературократия: проблема присвоения и перераспределения власти в литературе*, Москва 2000.
- Велчев 1917: В. Велчев, *Руската революция. I. Причините*, “Седмичен преглед”, I, 1917, 1 (7 юли), с. 5-6.
- Герцен 1954-1965: А. Герцен, *Собрание сочинений в 30 тт.*, Москва 1954-1965.

⁵² “Мещане не были произведены революцией [...] Их держала аристократия в черном теле и на третьем плане; освобожденные, они прошли по трупам освободителей и ввели свой порядок” (*Былое и думы*; Герцен 1954-1965, X: 119); ср. с предыдущей цитатой из Герцена (прим. 50).

⁵³ О положении / пути Богданова в 1908-1913 гг. см. Gloveli 1998, 47; Kremensov 2011, 40-41, 51-53.

- Долгушин 2019: Д.В. Долгушин, "На кратере вулкана": В.А. Жуковский и революция 1848 г., "Studi Slavistici", XVI, 2019, 1, с. 107-124.
- Ефимова 2019: С.Н. Ефимова, Чиновник или еретик? Проблема 'профессии' и житнетворчество в публицистике Евгения Замятина после 1917 г., "Studi Slavistici", XVI, 2019, 1, с. 125-141.
- Зорин 2001: А. Зорин, *Кормя двуглавого орла... Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII-первой трети XIX века*, Москва 2001.
- Коларов 2009: Р. Коларов, *Повторение и сотворение: поэтика на автотекстуальности*, София 2009.
- Курганов 1998: Е. Курганов, *Блок как стоик*, "Wiener Slavistischer Almanach", XLII, 1998, с. 53-73.
- Люцканов 2011: Й. Люцканов, "Огненный стол" Николая Гумилева в свете духовных стихов и книги Павла Флоренского "Стол и утверждение истины", "Wiener Slavistischer Almanach", LXVIII, 2011, с. 55-73.
- Люцканов 2013: Й. Люцканов, *Русская литература на грани экфрасиса. Синестетичность эпифании как показатель культурной родословной*, "Wiener Slavistischer Almanach", LXXI, 2013, с. 69-133.
- Медведев 2019: А.А. Медведев, *Русская катастрофа 1917 г. и 'большое время'* (М. Пришвин, В. Розанов, А. Блок), "Studi Slavistici", XVI, 2019, 1, с. 143-162.
- Милюков 1896-1903: П. Милюков, *Очерки по истории русской культуры*, I-IV, Санкт-Петербург 1896-1903.
- Миронов 2003: Б. Миронов, *Социальная история России периода империи (XVIII-начало XX в.)*, I-II, Санкт-Петербург, 2003³ (1999¹).
- Петров 2017: В.В. Петров, "Революция сознания" в работах Андрея Белого 1917-1919 гг., в: В.В. Полонский (отв. ред.), В.М. Введенская, Е.В. Глухова, М.В. Козьменко (ред.-сост.), *Перелом 1917 года: революционный контекст русской литературы (Исследования и материалы)*, Москва 2017, с. 56-78.
- Рогачева 2019: Н.А. Рогачева, "Задыхание истории" в русской поэзии 1910-начала 20-х гг. К вопросу о семантике филологической метафоры Р. Якобсона, "Studi Slavistici", XVI, 2019, 1, с. 163-175.
- Фрейдин 1991: Г. Фрейдин, *Сидя на санях: Осип Манделштам и харизматическая традиция русского модернизма*, "Вопросы литературы", 1991, 1, с. 9-31.
- Якобсон 1979: Р. Якобсон, *О поколении, растратившем своих поэтов*, в: R. Jakobson, *Selected Writings*, V, The Hague 1979, с. 355-381³ (Bruxelles 1930¹).

- Abbott 1988: A. Abbott, *The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor*, Chicago-London 1988.
- D'Agostino 2010: A. D'Agostino, *The Russian Revolution, 1917-1945*, Santa Barbara-Denver-London 2010.
- Amar 2011: J.P. Amar, *Christianity at the Crossroads: The Legacy of Ephrem the Syrian*, "Religion and Literature", XLIII, 2011, 2, c. 1-21.
- Armstrong 1982: J.A. Armstrong, *Nations before Nationalism*, Chapel Hill 1982.
- Badcock 2008: S. Badcock, *The Russian Revolution: Broadening Understandings of 1917*, "History compass", VI, 2008, 1, c. 243-262.
- Berger 1963: P.L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective*, New York 1963.
- Bourdieu 1995: P. Bourdieu, *The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field*, transl. by Susan Emanuel, Stanford 1995 (ор. изд.: *Les règles de l'art: Genèse et structure du champ littéraire*, Paris 1992).
- Cohen 2014: A.J. Cohen, *The Feast in the Time of Plague: The Russian Art World, Easel Painting, and the Experience of War and Revolution, 1914-22*, в: M. Frame, B. Kolonitskii, S.G. Marks, M.K. Stockdale (eds.), *Popular Culture, the Arts, and Institutions*, Bloomington 2014 (= *Russian Culture in War and Revolution, 1914-22*, 1), c. 121-138.
- Duncan 2000: P.J.S. Duncan, *Russian Messianism: Third Rome, Holy Revolution, Communism and After*, London-New York 2000.
- Figes 1997: O. Figes, *A People's Tragedy: A History of the Russian Revolution, 1891-1924*, London 1997.
- Gloveli 1998: G. Gloveli, *Bogdanov as Scientist and Utopian*, в: J. Biggard, G. Gloveli, A. Yassour, *Bogdanov and His Work: A Guide to the Published and Unpublished Works of Alexander A. Bogdanov (Malinovsky) 1873-1928*, Aldershot-Brookfield 1998, c. 40-65.
- Halfin 1999: I. Halfin, *From Darkness to Light: Class, Consciousness, and Salvation in Revolutionary Russia*, Pittsburgh 1999.
- Kotkin 1995: S. Kotkin, *Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*, Berkeley 1995.
- Krementsov 2011: N. Krementsov, *A Martian Stranded on Earth: Alexander Bogdanov, Blood Transfusions, and Proletarian Science*, Chicago-London 2011.
- Leach 1986: E.E. Leach, *Mastering the Crowd: Collective Behavior and Mass Society in American Social Thought, 1917-1939*, "American Studies", XXVII, 1986, 1, c. 99-114.
- Lyutskanov 2012: Y. Lyutskanov, *Again on "Athens and Jerusalem" (Lev Shestov's Counter-Hellen(ist)ic Philosophy of Tragedy)*, "Sjani" XIII, 2012, c. 24-46.
- Neumann, Willimott 2018: M. Neumann, A. Willimott (eds.), *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide*, Abingdon-New York 2018.

- Pipes 1996: R. Pipes, *A Concise History of the Russian Revolution*, New York 1996² (1995¹).
- Read 1990: C. Read, *Culture and Power in Revolutionary Russia: The Intelligentsia and the Transition from Tsarism to Communism*, New York 1990.
- Roslof 2002: E.E. Roslof, *Red Priests: Renovatism, Russian Orthodoxy, and Revolution, 1905-1946*, Bloomington-Indianapolis 2002.
- Rowney 2005: D.K. Rowney, *Narrating the Russian Revolution: Institutionalism and Continuity across Regime Change*, "Comparative Studies in Society and History", XLVII, 2005, 1, c. 79-105.
- Selye 1974: H. Selye, *Stress Without Distress*, Philadelphia 1974.
- Service 2009: R. Service, *The Russian Revolution, 1900-1927*, Basingstoke-New York 2009⁴ (Atlantic Highlands [NJ] 2006¹).
- Smele 2015: J. Smele, *The "Russian" Civil Wars, 1916-1926: Ten Years That Shook the World*, New York 2015.
- Sochor 1988: Z.A. Sochor, *Revolution and Culture: The Bogdanov-Lenin Controversy*, Ithaca-London 1988.
- Steinberg 2017: M.D. Steinberg, *The Russian Revolution, 1905-1921*, Oxford 2017.
- Stites 1989: R. Stites, *Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution*, New York-Oxford 1989.
- Tabachnikova 2019: O. Tabachnikova, *Lev Šestov: 'Duality' in Life and Thought at the Time of the Rift of the Socio-Cultural Paradigm*, "Studi Slavistici", XVI, 2019, 1, c. 177-201.
- Tolz 1997: V. Tolz, *Russian Academicians and the Revolution: Combining Professionalism and Politics*, Basingstoke-London 1997.
- Wade 2004: Introduction, в: Id. (ed.), *Revolutionary Russia: New Approaches to the Russian Revolution of 1917 (Rewriting Histories)*, New York-London 2004, c. 1-10.
- Wallerstein 1988: I. Wallerstein, *The Inventions of TimeSpace Realities: Towards an Understanding of our Historical Systems*, "Geography", LXXIII, 1988, 4, c. 289-297.
- Waterlow 2018: J. Waterlow, *Speaking more than Bolshevik: Humour, subjectivity, and crosshatching in Stalin's 1930s*, в: M. Neumann, A. Willimott (eds.), *Rethinking the Russian Revolution as Historical Divide*, London-New York 2018, c. 215-236.
- White 2013: J.D. White, *Alexander Bogdanov's Conception of Proletarian Culture*, "Revolutionary Russia", XXVI, 2013, 1, c. 52-70.
- Wood 2003: A. Wood, *The Origins of the Russian Revolution, 1861-1917*, London-New York 2003³ (London 1987¹).

Abstract

Jordan Ljuckanov

Russian Litterateurs Amidst Two Revolutions. Parting with Idyll and Retaining Freedom

Paying tribute to the historical collection of essays *Landmarks* (1909), I interpret the findings of five articles published in the previous issue of “*Studi Slavistici*” as contributions to our knowledge of how the Russian intellectual elite conceptualised and managed their intellectual, social and physical participation in and survival vis-à-vis the “Russian revolution”. I view the “Russian revolution” as a double, literary-political, or, rather, triple, mental-political-social, phenomenon which came about from the interaction of two Messianisms, socialist and national, suggesting a periodization which duly accounts for its literary / mental aspect: 1848-1930. Understanding “revolution of conscience” as a loss / overcoming of one’s naïve attitude to his or her intellectual-and-social habitus, I compare individual strategies of such ‘losers’ / ‘overcomers’ (Lev Šestov; Evgenij Zamjatin; Michail Prišvin; Vasilij Rozanov; Aleksandr Blok; Roman Jakobson; Vladimir Majakovskij; Vasilij Žukovskij) in coping with the social and political aspects of revolution. I claim that their experience is interpretable against the framework of a ‘competition between professions’ but for now I am able to map the situation in quite general terms only: as one of litterateurs being defeated by politicians whom I designate as ‘technologists of crowd’. In order to make the articles’ findings interoperable, and also compatible with my intentions, I reshape those findings from a literary-sociological perspective. I introduce, besides, two more historical figures: Aleksandr Herzen and Aleksandr Bogdanov, suggesting to view the experience of Herzen and Žukovskij as prototypical and the one of Bogdanov as an epitome of the kinds of experiences Russian intellectuals had within the historical cycle of the “Russian revolution”.

Keywords

Revolution of Conscience; Russian Revolution; Idyll; “Power of Idea”; Competition Between Vocations.